

«ШАМАН» И МОТЬКА

Очерк

...Не думайте, что это рассказ из сибирской жизни, из жизни какой-нибудь якутской или бурятской слободы. Я передаю про одну нашу соседку в одной из деревенок Орловской губернии, старую деву-помещицу. Может быть, эта соседка покажется читателям небезынтeресною.

Начну с наружности.

Видали вы безобразных старых цыганок? Они по большей части худы и остроносы, глядят как-то странно и дико, одеты в какие-то ветхие, наизанные друг на друга хламиды, рукава которых обыкновенно разорваны чуть не надвое... Если видали, то очень легко можете себе представить наружность Олимпиады Марковны или «Шамана», как прозвали ее наши соседи-помещики из «новых». Она и одеждою, и лицом, и странным выражением глаз страшно похожа на подобную цыганку. Только не всякая цыганка обладает ее странными умственными способностями и ее характером.

Какой же характер у Олимпиады Марковны — добрый или злой, подлый или благородный? На этот вопрос ответить определенно не берусь. Характеры лиц, подобных ей, очень трудно поддаются определению. У Олимпиады Марковны все зависит от настроения — семь пятниц на одной неделе. Сейчас она вас уважает, любит, хвалит, рассказывает повсюду, что вы самый умный человек, первый красавец в округе; и все это вполне искренне. Но чуть что-нибудь не по ней, чуть вы немного повздорили с нею — и у ней сразу меняется убеждение о вас: именно «у ней меняется», а не «она меняет». Тогда она опять-таки искренно убеждена, что вы и дурак, и негодяй, и все, что угодно. Она везде рассказывает про вас самые низкие сплетни, говорит, что вы дурак, безобразный, «лупоносый», «раскосый» и т. д., и т. д. И я убежден, что в такие минуты вы ей кажетесь действительно и «лупоносом» и «раскосым», хотя на самом деле вы несколько не «лупоносый». Одним словом, она вовсе не привыкла составлять о чем-нибудь раз навсегда определенное мнение.

Причина странностей подобных лиц, разумеется, понятна: умственные способности играют у них очень малую роль, а если и играют, то опять-таки очень странную. Олимпиада Марковна в особенности страдает отсутствием самой примитивной логики. Но, впрочем, лучше всего — факты. Я приведу для примера хотя две или три сцены из тех, которые происходят в нашем доме по крайней мере раза три в неделю, потому что Олимпиада Марковна, считаясь нам какою-то дальней родственницей, бывает у нас почти ежедневно. Мы так к ней привыкли, что на самом деле считаем ее родною.

Сидим, например, мы все за обедом. С нами сидит и Олимпиада Марковна в своем необыкновенном костюме. Ест она много, как бурят, с какою-то странною жадностью и торопливостью. Поэтому начало обеда, когда Олимпиада Марковна увлечена каким-нибудь супом или заливным, проходит в молчании. Но это только до известного момента; откинувшись на спинку стула, Олимпиада Марковна наконец вздыхает и улыбается.

— Вот напхалась-то! — говорит она с видимым наслаждением.

Отец нахмуривается.

— Что это у тебя, Олимпиада Марковна, за выражения! — говорит он недовольно.

Олимпиада Марковна совершенно наивно взглядывает на него.

— Какие, батюшка, выражения?

Отец махает рукой и отвертывается. Олимпиада Марковна вдруг ни с того ни с сего обращает свой взор на меня и как-то по-детски восклицает:

— Ах, какой красавец Ванечка-то стал!

Я наклоняю голову к тарелке.

— Да ей-богу, получше тут всех, — продолжает таким тоном Олимпиада Марковна, как будто кто-нибудь возражает, — ей-богу, красавец, — упорствует она.

И при этом она ласково треплет меня по голове, цепляя рукавами себе в тарелке.

— Отставь от себя, пожалуйста, тарелку, — замечает отец.

— Зачем, батюшка?



ОРЕЛ. МОСКОВСКАЯ УЛИЦА
Открытка, 1910-е годы
Собрание А. К. Бабореко, Москва

— Она ведь тебе мешает.

— Нисколько не мешает,— возражает Олимпиада Марковна и прибавляет в раздумье, улыбаясь.— Поручик Немешаев... у Евгения на свадьбе плясал. Ей-богу, Ванечка! «Ей же ей», как девки знаменские говорили... Помнишь, Алешенька?

— Отстань ты от меня с глупостями,— сердито говорит отец,— не помню я ничего.

— Да как же, батюшка, не помнишь? Прошлым летом-то.

— Да отстань ты!

Олимпиада Марковна злобно взглядывает на него.

— Что же это ты, Алешенька, как зверь какой стал, слова нельзя сказать!

— Хорош «Алешенька»,— перебивает отец,— шестьдесят три года малому, а она: «Алешенька».

— Да ну что ж, ругай, ругай!— деланно-покорным тоном говорит Олимпиада Марковна,— авось не надолго вам досталась! Может, и умру скоро...

— И отлично сделаешь!

— Да я и сама думаю, что отлично... Земля меня забыла, окаянную...

И так далее...

А иногда у нас происходит такой разговор.

Олимпиада Марковна, бродя по комнатам, заходит ко мне и усаживается около стола, на котором я пишу. Сначала она берет или словарь, или старый задачник и читает, не отрываясь, около часа, иногда только раздумывая вполголоса: «...107 аршин черного сукна, 150 зеленого, заплатив за все это проценты с капитала в 17120 рублей...» Вот кушцы-то нынче как стали жить!— восклицает она при этом.

Потом кладет задачник и тащит какую-нибудь бумагу.

— Пожалуйста, Олимпиада Марковна, не путайте,— говорю я,— не берите, пожалуйста.

— Да я, батюшка, не беру ничего,— возражает Олимпиада Марковна,— что ж я, дура какая-нибудь?

— Да как же не берете?

— Ах, господи, как будто уж нельзя и посмотреть!.. Ты теперь, говорят, во всех газетах пишешь.

— Так вы бы попросили, я сам могу дать.

Олимпиада Марковна вдруг злобно швыряет рукопись и подымается.

— Да мне и не нужны твои паршивые стихи!— говорит она пренебрежительно.— Ты думаешь, что ты теперь вправду Аполлонский!

Под именем Аполлонского надо разуместь Полонского; но я не обращаю на это внимания и говорю:

— А не нуждается,— зачем же берете?

— Да и не нуждаюсь брать.

— Ну, значит, тем лучше.

— «Тем лучше, тем лучше»,— передразнивает Олимпиада Марковна,— болван! У нас и в роду таких болванов не было.

— Во-первых, я вовсе не из вашего рода,— говорю я,— а во-вторых, нам с вами про это ничего почти неизвестно,— было или не было.

— Так что же по-твоему, у нас в роду все дураки были?

— Я не говорю этого.

— Да как же это «не говорю»,— не унимается Олимпиада Марковна,— что ж ты дурачишь-то меня! Ты воображаешь, что ты умнее всех стал! «Не говорю!»— как будто я не понимаю...

Олимпиада Марковна кидает на меня насмешливый и вызывающий взгляд и начинает быстро ходить по комнате, нервно завязывая и развязывая платки на голове. Руки у ней дрожат от злобы. Глаза стали совсем дикими.

— Небось, не дурей тебя были! И поумнее и поученей во сто раз!— продолжает она.

Тогда я решаюсь окончательно взбесить Олимпиаду Марковну и говорю:

— Эх, господи боже мой, уж куда там «поученей!» Читать, небось, не умели...

— Да вот не умели читать, да получше тебя, дурака, жили: ты и в праздник того не съешь, не сошьешь, что у них по будням люди едали.

— Да в этом-то бог с ними.

— Ну, значит, и получше тебя были!

— Вовсе не значит.

Олимпиада Марковна вдруг останавливается и вскрикивает:

— Ах, батюшки! Да что ты ко мне привязался?! Я вот изругаю тебя, как собаку, да уйду! Разбойник! Связался с кем, с старым человеком! Брехать только выучился! Затем страшно хлопает дверью и скрывается из комнаты.

Но лучше всего охарактеризовать и объяснить характер Олимпиады Марковны может ее воспитание.

Она происходит из старинного помещичьего рода. «Я не хуже ведь кого-нибудь,— говорит она часто,— все-таки не какая-нибудь хамка, а столбовая потомственная дворянка». И это верно, хотя Олимпиада Марковна уже чересчур преувеличивает значение своего происхождения и чересчур часто упоминает разных прапрадедов. Состояние у этих прапрадедов было громадное. Впоследствии оно, разумеется, стало все более и более дробиться, так что у отца Олимпиады Марковны было не более двухсот десятин земли и нескольких сотен крепостных. Впрочем, и это, разумеется, было очень недурно, но собственно Олимпиаде-то Марковне вовсе не пришлось получить действительно барского воспитания. Мать ее умерла еще тогда, когда Олимпиаде Марковне исполнилось только шесть дней, а отец вскоре сошел с ума, так что воспитанием ее занялась ее тетка, старая дева-помещица, и увезла ее в свою деревушку «Бутырки». Старая дева была особа полусумасшедшая и при этом «христова невеста»— девственница, как ястреб следившая за нравственностью своих девок и нещадно бившая их при малейшем подозрении. Она жила совершенно одна, окруженная только одними дворовыми девками, вечно гремящими в «девичьей» своими коклюшками. По ночам она нараспев читала псалтырь, выкрикивала молитвы собственного сочинения в религиозном азарте, а иногда вдруг начинала рыдать, упав перед иконами. Ей каза-

лось, что в такие минуты в нее вселяется «змей эдемский и иерусалимский»... Потом вскакивала, вся бледная, с распущенными волосами, кричала на весь дом в паническом ужасе и бросалась будить девок. Девки тоже вскакивали как сумасшедшие, зажигалась салная, тусклая свеча и начинались успокаивания «матушки-барышни».

Старый помещичий дом производил тогда жуткое впечатление среди глубокой осенней ночи... Только к утру засыпала «барышня». Днем она ходила почти совершенно в рассудке, иногда тоскливая и тихая, а иногда злобная и крикливая.

Такие впечатления были первыми впечатлениями Олимпиады Марковны.

Лет двенадцати Олимпиада Марковна, наконец, попала в институт. Свезла ее туда ее другая тетка, тоже очень интересная особа: соседи звали ее «солдатом», и она вполне оправдывала это название — во-первых, своей здоровой, не женской фигурой, во-вторых, грубой, энергичной деятельностью в именьи и в-третьих, — зычным голосом. За голос ее звали даже особо — «хайлом».

Так вот эта-то тетка увезла почти насильно Липочку в институт. Как вела себя там последняя, — достоверно ничего не известно. Знаю только, что она воротилась оттуда, не окончивши курса, девицей с французским ломаным языком, с игрою на фортепьянах и с запасом французских басен. Этими баснями, которые она и теперь иногда твердит, закатывая глаза и делая блаженную физиономию, кажется, и ограничивалось все ее институтское образование.

Поселившись опять у сумасшедшей девы, она повела такую бездельную и скучную жизнь, что под влиянием ее и сумасшедшей тетушки заболела через несколько времени «тоскою». С нею начали делаться такие же припадки, как и с «христовой невестой».

Впоследствии крепостные девки, уже будучи свободными, говорили, что она большею частью «уродничала». «Одна в свете привередница была!» — говорили они.

Но как бы там ни было, ее пришлось везти к угоднику. Впрочем, я забыл сказать, что до угодника к ней приводили еще знахаря. Но тот только испортил дело. Его заклинания: «тоска, тоска, иди во темные леса, там твои места!» произвели еще более гяжелое впечатление на «барышню». Но угодник ей помог. Она возвратилась успокоенная и повеселевшая. К тому же ее выздоровлению способствовало и то, что она поселилась уже не с теткою, а с братьями.

С ними она уже окончательно превратилась из институтки в барышню, которая могла и девку оттрепать за косы и цереругаться с братьями, ни в чем не уступая им, и несмотря на то, что братья у ней были не особенно нежные юноши. Воспоминания о «французских вокабулах», о Катеньке Гриневой, о Лизаньке Крутиковой, об учителе Карле Густавовиче — стали для нее уже не действительностью, а как будто далеким сновидением.

Когда «христова невеста» умерла, Олимпиаде Марковне, имеющей уже тридцать лет, досталось десятин тридцать пять земли и флигель. Крепостных не досталось, потому что они уже были освобождены к этому времени. Получив наследство, Олимпиада Марковна перенесла флигель в ту деревню, где жили ее братья, и начала хозяйствовать. Замуж она не пошла, потому что «христова невеста» еще с детства угрожала ей вечным проклятием за брак. К тому же Олимпиада Марковна и сама не хотела замуж. Она по ночам стала читать псалтырь, была ужасно богомольна и ко всему этому — свободолюбива. «Как же, пойду я, — говорила она, — чтоб какой-нибудь родимец колотил меня каждый день».

С тех пор во флигеле потекла очень странная жизнь. Еще не вполне отвыкшая от крепостничества, Олимпиада Марковна стала чуть не каждый день драться с кухаркою, твердо помня, что она «столбовая дворянка». Но такой титул уже потерял тогда половину своего значения. Кухарки спуску не давали и мевались каждый месяц. Наконец, уже не стал никто наниматься. «Да родимец их расшиби!» — решила Олимпиада Марковна и начала стряпать сама. С этих пор она стала ходить уже не на «столбовую дворянку», а хуже, чем на хамку. Бездельница, барышня, не привыкшая никогда трудиться, с странным, безалаберным воспитанием, — она, естественно, стала все более терять человеческий образ. По целым дням она стала ходить неумытая, непричесанная, вся в саже и в саде. Постоянное общение с работниками превратило ее окончательно в крикливую бесстыжую бабу. И горе смирному работнику. По особен-

ности своего характера, Олимпиада Марковна, как говорится, «седлала» такого работника. Грубых, напротив, она побаивалась и только за дверью ругала их на чем свет стоит. Ко всему этому присоединялась все более и более развивающаяся бедность или даже больше — нищета... Бедность, разумеется, стала развиваться от системы хозяйства. Славное это было хозяйство!.. Началось с того, что Олимпиада Марковна, получив неограниченную власть, сдала 5 десятин земли богатому мужику из своей деревни, и мужик дал ей за это копен 20 гнилой соломы для топки и для резки корове, две четверти ржи и четвертей пять картофелю. Олимпиада Марковна вполне удовлетворилась этим и на следующие годы стала придерживаться той же системы хозяйства, т. е. сдавать землю и, разумеется, на подобных же условиях.

— Зачем же вы за десятину прекрасной земли взяли пять четвертей прелых картошек? — говорили иногда соседи.

— Ах, господи, боже мой! — сердито восклицала Олимпиада Марковна, — спасибо хоть таких-то дал, а то бы с голоду издохла.

Флигель ее пришел скоро в страшный упадок. Олимпиада Марковна продала его (разумеется, за полцены) и поставила себе маленькую избу. В избе ее жизнь стала уже совсем несчастная: грязь, вонь, под лавками кучи мусору...

Земля по-прежнему сдавалась за бесценок, и Олимпиада Марковна по-прежнему голодала. Но вмешиваться в свое «хозяйство» никогда и никому не давала:

— Я сама не дурей кого-нибудь, — говорила она обыкновенно.

Ее вполне удовлетворяла такая жизнь: свобода полнейшая, ходить можно, как попало, — хоть в грязи, хоть в лохмотьях, умываться каждый день не требуется, подчиняться некому... Чего же лучше? Олимпиаду Марковну нисколько не стесняло то, что соседи относились к ней, как к дурочке, как к самому несчастному существу. Она вряд ли и соображала это. Вернее, что нет. К тому же, как я уже говорил, она обладала незаменимыми качествами: страшной гордостью по отношению ко всем разговорах про нее («да родимец их убей») и равнодушием ко всем неприятностям в жизни. Она так же, как и прежде, только уж без приглашений, ходила ко всем в гости, торопливо и украдкой наедалась до «колик» в желудке и, подвыпивши, даже плясала. И плясала — надо отдать ей справедливость — так неистово, что один наш остряк прозвал ее «шаманом». С тех пор так и пошло... Действительно, такую пляскою, выражением лица, нанизанными друг на друга лохмотьями тетушка производила дикое впечатление.

Так прошло лет двадцать. Тетушка, вероятно, намеревалась в том же роде и до самой смерти дотянуть, как вдруг в ее жизни произошли резкие изменения. Независимость ее кончилась, и причиной этого был Мотыка!.. Да, Мотыка, ее работник!

Представьте себе мужика маленького роста, широкоплечего и широкоспинного, с расплывшимся носом на скуластом безбородом лице и с вечно веселыми плутовскими глазками. Это — Мотыка. Он пьяница и «лантрыга», как говорится, в душе. Перед достаточными «господами» он подличает, заливаясь поддельным смехом на каждое их слово, — вообще ведет себя покорно до крайних пределов. Над бедными он отпускает остроты, хотя от природы человек добродушный и незлобивый. Он когда-то жил у нас в работниках, так что я знаю его недурно. Он был даже в некотором роде моим воспитателем, например, первый начал учить меня непечатным словам, заставляя повторять их и умирая со смеху, когда я выговаривал ругань детским картавым акцентом.

Но Олимпиаду Марковну он забрал в руки твердо. Конечно, хозяйство шло так же; Олимпиада Марковна каждый день бегала к нам и жаловалась, что Мотыка ругает ее, продает самовольно рожь, поросят, напивается и ровно ничего не делает. Но едва кто-нибудь из нас собирался поехать и прогнать Мотыку, Олимпиада Марковна вскакивала, как обожженная и кричала:

— Что же это, батюшки, последнего работника хотят прогнать!

Мы, разумеется, в конце концов махнули на нее рукою и уже спокойно выслушивали про разные проделки Мотыки. Да и он перестал нас бояться.

— Хочу лошадь продать, — говорит он, например, мне без всякого стеснения.

— То-есть как же это «хочу»? — спрашиваю я.

Мотыка только со смеху закатится на это.

«ШАМАН» И МОТЬКА»

Оттиск из «Орловского вестника» (1890, № 151, 152, 25 и 27 июня), изготовленный для Бунина Фамилия автора и заголовок «Обломки дворянства. Очерки» в газете отсутствовали

Музей И. С. Тургенева, Орел

И. А. Рунинъ (Чубаровъ).

ОБЛОМКИ ДВОРЯНСТВА.

О ЧЕРКИ.

1.

„ШАМАНЪ“ И МОТЬКА.

... Не думайте, что это рассказ из сибирской жизни, из жизни какой-нибудь якутской или бурятской слободы. Я передаю про одну нашу сосѣдку въ одной из деревенек орловской губернии, старую дѣву-помѣщицу. Можетъ быть, эта сосѣдка покажется читателямъ не безынтересною.

Начну съ наружности.

Видали вы безобразныхъ старыхъ цыганокъ? Онѣ по большей части худы и остроносы, глядятъ какъ то странно и дико одѣты въ какія-то ветхія, нани-

С годами Мотья забирал Олимпиаду Марковну в руки все больше и больше. В последнее время он буквально ни одного дня не пропускал, чтобы не напиться. Что же касается до отношений, которые существуют теперь между им и Олимпиадой Марковной, то лучше всего характеризовать их может следующий эпизод.

Однажды Олимпиада Марковна пришла к нам взволнованная более обыкновенного. Едва успев опуститься на стул, она принялась, как говорится, на чем свет стоит ругать Мотью:

— Что ж это, батюшки мои!— вопила она неистово, развязывая неловко и нетерпеливо платки,— моя смерть пришла с этим праlichem!.. Он меня замулыцдал!..

— Что такое? С каким «праlichem»?— сурово спросил отец, выходя из кабинета,— что ты тут кричишь?

— Да как же, Алешенька, не кричать?!— накинулась на него Олимпиада Марковна,— и ты-то какой-то стал помешанный! Сестру удавить хотят, а он на нее же кидается!..

Отец остановился.

— Как «удавить»?— изумился он.— Тебя удавить хотят? Уж не Мотья ли?

— Да кто же больше, как не этот разбойник!— подхватила Олимпиада Марковна.— Вчера было совсем умерла!

Отец еле удерживался, чтобы не разразиться хохотом.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее,— сказал я, входя в комнату,— что с вами такое было?

Олимпиаде Марковне должно быть послышалось в моих словах сочувствие, и она сейчас же начала, едва выговаривая слова от нетерпения:

— Да вы, должно быть, не слыхали еще ничего? Он совсем с ума спятил... Ей-богу, спятил... Несказанные дела делает!..

— Мотья с ума спятил?— перебил отец.

— Ну да, разумеется, Мотья... Что же это ты, батюшка, не понимаешь-то ничего?.. Помешался, родимец... Вчера еще с утра засвистал в кабак верхом... «Лошадь,—

говорит, — менять буду. — «Как, — говорю, — менять? Надо у барыни спроситься, а потом уж скакать по кабакам». — «Все этикие шлюхи барыни бывают!» — Сел да и засвистал. Что ж мне, не драться же с ним!.. Ну, да это еще ничего. Вечером-то что было! Ты представить себе, Алешенька, не можешь!..

— Неужто правда давить хотел? — серьезно спросил отец.

— Да ей-богу же хотел! — завопила опять Олимпиада Марковна. — Я только загнала корову, глядь — идет! И лошади нету... Я так и обмерла... Ввалился, матушки мои, в избу и прямо ко мне. «Что ты, Матвей?» — спрашиваю, а сама дрожу вся... «Давить тебя, анафему, сейчас буду!» — «Как, говорю, давить? Я крещеный человек... Что ж я собака, что ли?» — «Ну, идол, нечего зубы-то заговаривать, — молись богу!..» А сам встал, мои матушки, сдернул с себя ремень, — а ремень-то толстущий, — да ко мне! «Слышишь, молись богу!»

— Я, батюшка, обомлела вся... (Олимпиада Марковна заговорила жалостно, параспев.) Тут-то я узнала, как перед смертью тяжело бывает! Стала я читать псалом Давида: «Вспомни, господи, царя Давида и всю кротость его». А он уж ремень накинул! А, каково? Что мне делать?.. «Матвей, — говорю наконец, — что ты делаешь? Что ты делаешь! Ну, ты меня удавишь — я в царство небесное пойду, а ты в каторгу. Побойся ты господа бога... Что я тебе сделала?» Он поглядел-поглядел — шварк ремень на пол. «Ну, черт с тобой, — говорит, — живи, океанная!.. Подай мне суду». Налила супу, подношу — как он опять кулак к морде: «ай жмакну?» Потом сразу раздобрился: веселый, родимец, стал: «Я пошутил!» А хороши шутки? Хороши? До сих пор не опомнюсь!..

Мы только руками развели...

<1890>

«Орловский вестник», 1890, № 151 и 152, 26 и 27 июня, под заглавием: «„Шаман“ и Мотька. Очерк И. А. Чубарова». Воспроизведено (с неточностями, без указания на источник и без даты): «Дон», 1968, № 3.

В ГМТ хранится сброшюванный оттиск, в котором псевдоним стоит рядом с подлинным именем автора, а заглавие расширено: «И. А. Бунин (Чубаров). Обломки дворянства. Очерки. I. „Шаман“ и Мотька». Во всем остальном текст очерка, а также шрифт и размеры столбцов совпадают с газетной публикацией. По свидетельству самого Бунина, оттиск был сделан с набора «Орловского вестника»: «Посылаю тебе статейку о Шамане, — писал он брату Юлию в начале июля 1890 г. — Это оттиск из „Орловского вестника“» (ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 18, л. 31 об.; письмо датируется по упоминанию о чтении повести Толстого «Крейцерова соната»). «Отчего же ты ни строчки не напишешь про брошюру, которая была вложена в моем письме — „Шаман“ и Мотька?» — упрекал он его в начале августа (там же, л. 42; датируется по содержанию письма).

Замысел цикла очерков об уходящем дворянстве, который, судя по названию, введенному Буниным в оттиске, возник у него в это время, не был осуществлен. Возможно, что следующим очерком этого цикла должен был стать «Помещик Воргольский» (см. настоящ. кн., стр. 162—172). Некоторые эпизоды очерка «„Шаман“ и Мотька» (например, судьба одной из воспитательниц Олимпиады Марковны — безумной старой девы или взаимоотношения героини с ее работником) предвосхищают образы и ситуации повести «Суходол».

БОЖЬИ ЛЮДИ

Очерк из жизни обездоленных

СУДОРЖНЫЙ

...Увидать этого «судоржного» мне пришлось на Орловско-Грязской дороге...

Поезд уже затих, — прекратилась толкотня и говор пассажиров, перестали стучать двери, когда я вошел в вагон третьего класса и поместился в более свободном отделении.

Все ждали третьего звонка. Обычных дорожных разговоров еще не начиналось... Священник с благодушным лицом, в старом подряснике, из под которого виднелись деревенские грубые сапоги, сидел, снявши шляпу, и, позевывая, смиренно расчесывал